

*
Безветрие — всё так же давит слух, как
если бы залитое пространство, от
распростёртых к небу ветхих

рук сошло на землю тёплым молоком:
не вскармливая, но ютя убогость,
где тень — перестаёт быть —

мотыльком, там
слышно

Бога.

/ДВОЙНИК/

Любое зеркало — футляр родства, между зрачком
и силой Архимеда: заложенная за подклад
полтина — не в голос — про себя —
бубнит до ста, считая

стриженных,

безоблачных овец и в отражении — через раструб
пуповины, из серебра — рождается близнец.
Накормленный, раскрашенный, но
плоский — переводных

картинок

вернисаж — ты только скажешь слово —
он по-свойски, кивнёт в ответ: и
то ли чувством сноски, то
ли лицом твоим

заполнится
мираж.



Виталий ШАТОВКИН

/МУРАВЬИНЫЙ ЯД/

Кто ты? — кто запер мой взгляд в ракушку — мантию
цвета разбавленного песка — через игольное
ушко не отличить намерений
мотылька, от его

крыльев. Нащупав у горла комок, бывший когда-то
пылью — ставший не откровением, но формой
строк, может быть даже стихами —
кожицей речи —

сброшенной наугад: в каждой
жемчужине, вместе с
её слезами —
есть

муравьиный
яд.

*

Мгновением играет рыба-омут из пузырьков
икры и гуталина — неугомонно ищет
в маме — кто мы? — малыш,
слепивший

день

из пластилина. Слепивший стыд, слепивший
суммы чисел, портрет отца, верблюжье
одеяло — рукою, одержимый
летописец —

поставив

точку, всё начнёт сначала. Всё будет кратно в
нём его ангине, делящей /выдох-вдох/
на чёт и нечет — и каждый
слог, как нож

на

гильотине — сползая вниз — молчание увечит.
Крутятся на месте бабочка-пылинка —
о как нам мало надо для
забвения — и

накипь,

с парафиновой горбинкой — оплывший ангел.
Не без промедления, свеча возносит
потолку молебен и
фитилёк —

сгоревшим ударением —
как Тот, кто звёзды
зажигает в

небе.

*

Как бабочка на острие иголки, не шелохнётся
день и крыльями — увы, он не очертит
круг над редким лесом, полем,
перепёлкой влетающей

извне в

пейзаж одутловатый. Речная сырость — вторит
кривизне, береговой черты, и, скрыли
солнце, комья белой ваты — не
оставляющие над водой

следы.

/ГАЛО/

Нет разницы, но ночь длинней в словах — воткнёшь
английскую булавку, будет флюгер: обяжет
северным сиянием, хромированным
серпантином, конфетти — он

крутится — как будто шар

Земли, на указательном вращает рыжий клоун, под
аритмию зрительских ладоней — хруст галет.
Один посмотрит, скажет — не взлетит,
другой — сегодня вряд ли нас

догонят, а он округлится,

пластинкой в граммофоне,
и заблестит, как на
надплечье

эполет.

/АВГУСТОВСКИЙ НОКТЮРН/

Август звучит за окном — натянувшись на хорду,
солнечной тетивой: сушат цветастые
простыни, варят

варенье. Круглые камни на высохшей мостовой —
спаренные затылки. Без промедления,
крыльями машет

неоновая стрекоза — воздух расколот на четверти
грецким орехом — взгляд, уменьшаясь
в пространстве —

уносится

/за/ — к периферии пейзажа. Надсаженным эхом —
перебирает картинки ручной календарь,
выучив треть от

положенных

чисел до сотни. В гроздь смородины впрыснута
киноварь — цифра одиннадцать, кажется
более четной, чем

единица.

Упорно пронзая нутро — бескислородную паклю
воздушного шара, падают к стрекозе, на
сухое крыло, споры

лапчатника.

Циркулем небо сшивая из лоскутов фотосинтеза
и пустоты — ножкой, на полушариях
выскребав точки —

ты, замирая

во мне, переходишь на /ты/ — и прирастаешь, как
интонация к строчке. Из переменчивых
звуков выходит ноктюрн

с примесью

мрамора где-то на теле Шопена и, завернувшись,
как яблоко в розовый плюр — медленно
дозреваешь. По выпуклым

венам — полдень течёт, заплетая ладони с корой в
архитектуру безветрия — вогнутый
конус: мне остается

лишь тени коснуться рукой и
обмотать вокруг пальца
оставленный

волос.

/МЕЛАНХОЛИЯ ПРИБОЯ/

Вдыхая легкими усталость — разрозненные
голоса, из прошлого. В жестянках
сладость — цветная

наледь.

Полоса, прибоя — каменные бляшки, немые
оппоненты волн, для новорожденных
рубашки — обрезки

облаков.

Пятном — зрачок плывёт, закатным солнцем
и содрогаясь от тоски — ему во след,
часы на башне —

нашептывают

сплин. В виски надломленные брызги метят,
ударом битого стекла, и ветер лязгает
цепями о мраморные

зеркала.

Сыплет снежок, а из старой коробочки стёртые письма,
достаёт наугад, обойдя колченокую память, рука
и сливаются линии мутного штемпеля
в прежние лица, на которых

застывшая мимика — кровеносной камен — продольный
коралловый срез — если взгляд расплескать, как
стакан, под ногами — получится клякса,
если взгляд расплескать над

собою — изнанка
небес.

/НЕВАЛЯШКА/

Разбросанный по комнатным углам предел светильника —
бельмо для Минотавра, кинестетическая пыль: то
тут, то там — так виден купол планетария
сквозь свечку. Его пришили за

пробоины к глазам,

как майский вечер к пазухам сирени: чем ярче свет — тем
всё смиренней тени. Один, два, три — пройдишь по
узлам, по лугам позвоночника вслепую
у равновесия — нет функций —

кроме сна. Здесь

каждый звук сведён в спираль ушную — колье из ржавых
раковин морских, готических наречий погремушка
и отпечаток кукол восковых — надводных
айсбергов плывущая печаль —

то дно покажет —

то всплывет верхушка — то
замигает, маячком,
диагональ.

/ШАРИК/

Выпавший волос, сорванная листва, номер страницы,
опережающей память — сон подземелий или
отсутствие сна — шарик воздушный —
крошка небесного хлеба,

воском сочится

**твоя надувная спина и застревает иглой в подбородке
у Феба. Шепотом кружишься, шепотом льнёшь
к высоте — хлопают крылья, врастают
в молчание ресницы — я**

побегу за тобой по

**кипящей траве: небо в чердачном окне часто кажется
ближе, чем отражение взгляда в стоячей воде
или прыжок разведённых кузнечьих
лодыжек. Вся геометрия**

тела — вздетый кулак,

**мхи оплетают марьяж первомайских берёзок, ниточку
тянет в руке шестилетний бурлак, гордо шагая
с гвоздикой наперевес — крыльями
машут внахлёст слюдяные**

**стрекозы, через которые
видно изнанку**

небес.

Разложи на оттенки земли моё старое фото, каждый кадр
в стекле — чешуя архаической рыбы, с катарактой
в глазу, словно капелька жидкого йода —
поплавок для удачи. Мы с

тобою —

часами могли бы караулить молчанкой её в проседающих
плавнях — она любит весеннюю зелень и россыпь
фиалок, и отливы украдкой смывают с
руки её плавно — бижутерию

с запахом

магния. Чуешь — как сладок — утекающий, в прошлое, миг
пеленой фотоснимка. Он, как женское тело из пены
и сепии кружев, среди мрамора вечных
холмов обветшало Рима,

для которого

каждый был — лишним и, как бы, не нужен. Так стирается
память — так гаснут привычные лица. Так стареет
бумага — храня откровение кожи. И
губами сухими — дождём

уже вряд ли

напиться — с каждым днём
уменьшаешь себя,
на себя

самого
же.

*

У меня плоскость ассоциируется с циферблатом,
но часы — не есть время: и каждый плод,
стремящийся превзойти себя —
обречён потерять

семя. Но, платонически любя, на клевер — летит
пчела — ей движет лишь мёд и разве она
поймёт, отличие конечности
от чела. Стрелки

могут жужжать, жалить мигом пустым — менять
ход часов на бегу и всякий — кто скажет
себе /смогу/ — предпочтёт в
выборе угол —

кругу — или овалу. Слепой портной, тянет руки к
лекалу — уподобляясь всецело немому —
стремящемуся к вокалу. Стекло —
есть промежуточная

форма, между стихией и взглядом, как человек:
есть Бога язык. Или оппонент, который
уже привык, доказывать свою
правоту — там,

где по праву рулетка вступила в игру —
спотыкаясь о немоту — Бог —
изо рта выплёвывает
ковчег — и —

человек.